



ОТ «ЛЕГЕНДЫ» К «ТАЙНЕ»: КАК В. РОЗАНОВ СДЕЛАЛ Ф. ДОСТОЕВСКОГО ПИСАТЕЛЕМ XX ВЕКА

Сусуму Нонака

Университет Сайтама, Япония

В статье прослеживается эволюция взглядов В.В. Розанова на творчество Ф.М. Достоевского. Если в «Легенде о Великом Инквизиторе» (1891), ставшей значительной вехой в истории интерпретации произведений Достоевского в русской философской культуре, Розанов пытается адекватно воспроизвести позицию автора, отмечая, что главу о Великом инквизиторе следует рассматривать как ключевую не только для понимания идеино-го содержания романа «Братья Карамазовы», но и всего творчества Достоевского, то впоследствии, к концу XIX в., он занял принципиально иную позицию по отношению к русскому писателю. Теперь Розанов стал утверждать, что на вопросы, поставленные в романах Достоевского, следует давать ответы с точки зрения проблематики пола, обоснование святости и трансцендентности ко-торого стали для Розанова главной задачей. В связи с этим в статье обращается внимание на работу Розанова «Тайна. Из записной книжки писателя», которая не была опубликована при его жизни. В этом сочинении Розанов активно обсуждает трансцендентность пола, анализируя сочинения разных писателей и мыслителей, среди которых централь-ное место занимает Достоевский. Здесь в рас-суждениях Розанова можно заметить устой-чивую тенденцию к «деконтекстуализации», т.е. к интерпретации литературного произ-ведения в отрыве от того исторического кон-текста, в котором оно было написано, что, в свою очередь, приводит к «сверхсемантиза-ции» – наделению произведения избыточ-ными и прямо не вытекающими из него смыслами. Однако именно эти тенденции – к «деконтекстуализации» и «сверхсеманти-зации» – определили развитие литературной критики в XX в. Делается вывод, что Роза-нов стоит у истоков этой традиции.

Ключевые слова: В.В. Розанов, Ф.М. Достоевский, деконтекстуализация, сверхсемантизация.

The article considers the evolution of Vasily V. Rozanov's views on the literary work of Fyodor M. Dostoevsky. If in *The Legend of the Grand Inquisitor* (1891), which became a significant milestone in the history of the interpretation of Dostoevsky's novels in Russian philosophical culture, Rozanov tried to adequately reproduce the author's position, noting, that the chapter on the Grand Inquisitor should be regarded as key not only for understanding the philosophical and ideological content of *The Brothers Karamazov*, but also for comprehending the basic intent of Dostoevsky's entire oeuvre, then later, towards the end of the 19th century, he took a fundamentally different position in relation to the Russian writer. Namely, Rozanov began to argue that the questions posed in Dostoevsky's novels might and should be answered in terms of the problem of gender, the justification of the sacredness and transcen-dence of which became Rozanov's main task. In this connection, the article draws attention to Rozanov's work *Mystery. From the Writer's Notebook*, which was not published during his lifetime. In this essay, Rozanov actively dis-cusses the transcendence of gender, analyzing the works of various writers and thinkers, among whom Dostoevsky is central. Here in Rozanov's reasoning one can notice a steady tendency towards "decontextualization", i.e. to interpreting a literary work in isolation from the historical context in which it was written. This, in turn, inevitably led to "supersemanitization", or endowing the work with redundant and not directly derived meanings. However, the author stresses, it is these very tendencies – towards "decontextualization" and "supersemanticiza-tion" – that determined the development of liter-ary criticism in the 20th century. It is concluded that Rozanov was one of the first literary critics to start this tradition.

Keywords: V.V. Rozanov, F.M. Dostoevsky, decontextualization, supersemanitization.

Статья В.В. Розанова «Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского» (1891; далее «Легенда»), давшая начало его литературной карьере в качестве своеобразного критика, считается важной вехой в истории развития критики и интерпретации творчества Достоевского. Известно, что и после «Легенды» Достоевский оставался неиссякаемым источником вдохновения и творчества для Розанова как критика и мыслителя. В настоящей статье мы проследим развитие сюжета «розановского Достоевского», который стал, на наш взгляд, одной из причин «перерождения» писателя XIX в. в писателя XX в. и, может быть, даже XXI в.

Для этой цели мы остановимся сначала на анализе «Легенды», затем перейдем к разбору предисловия и послесловия ко второму и третьему изданию данной работы, в которых наблюдается резкое изменение отношения критика к своему кумиру, и завершим, наконец, исследованием «Тайны. Из записной книжки писателя» – весьма большой работы (более 350 страниц), которая не была опубликована при жизни автора.

Чем была новая «Легенда»?

Как известно, эта статья знаменита не только тематическим разбором главы «Великий инквизитор» романа Достоевского, но и краткой характеристикой творчества Н.В. Гоголя и его места в русской литературе XIX в. Эта статья, которая «вся в своем целом явила отрицанием Гоголя, борьбою против него» [16, с. 25], отличалась существенной новизной и послужила импульсом к неакадемическому пониманию творчества и личности Гоголя. Можно с уверенностью сказать, что Розанов, утверждая, что Гоголь «мертвым взглядом посмотрел... на жизнь, и мертвые души только увидал он в ней» [16, с. 27], стимулировал создание того образа «Гоголя XX века», которому так или иначе следовали такие выдающиеся критики, как Б. Эйхенбаум, В. Набоков и А. Синявский.

Что касается главного предмета внимания «Легенды», т.е. Достоевского и его взглядов, выраженных в центральной главе «Братьев Карамазовых», то определить, в чем вообще состоит утверждение критика и какой новизной оно отличается, сложнее. В этом отношении важно остановиться на анализе розановского восприятия времени и том идеологическом контексте 1890-х гг., который Розанов, безусловно, учитывал в начале своей литературной деятельности.

Как хорошо показывает название статьи «Почему мы отказываемся от наследства 60–70-х годов» (1891), принесшей начинающему критику известность в печати, Розанов начал свою литературную карьеру как представитель «консервативной» мысли нового поколения, основными чертами которой были славянофильское направление и критика позитивизма. В этом отношении ему был близок, например, Н.Н. Страхов, ставший своеобразным учителем молодого мыслителя и помогавший ему продвинуться в центр литературного мира [5, с. 132–141; 6, с. 533–560]. Характерно, что Розанов в вышеуказанной статье, вспоминая свои студенческие годы, признает свою идейную близость к «старшим профессорам», которые были невзрачны, неуклюжи, но «внутренно изящны» [17, с. 15], в то же время подчеркивает свое неприятие «молодых профессоров», т.е. представителей интеллигенции прогрессивного лагеря 60–70-х гг. XIX в. (не

случайно главным оппонентом розановской статьи выступал Н.К. Михайловский). Розанов утверждает, что «волна» времени еще раз возвращается к идеалистическому течению, что, как известно, действительно имело место в России в конце века.

В «Легенде» же Розанов придерживается как бы «стилизованного» славянофильства, т.е., относясь уважительно к основным положениям славянофилов предыдущего поколения (Н.Н. Страхова, К.Н. Леонтьева, Н.Я. Данилевского и др.), он пытается развивать свои взгляды на философию, религию, в том числе и в аспекте вечной темы «Россия и Запад»; для этой цели он и избрал творчество Достоевского, что вполне соответствовало духу времени, а именно началу Серебряного века.

Хорошо известно утверждение Розанова о «скрытной идее католицизма» [16, с. 70] Достоевского, или же о том, что «все, что говорит Иван Карамазов, говорит сам Достоевский» [16, с. 71]. Рассуждения о том, что «образы Инквизитора, студента, самого художника и Искушающего Духа, который стоит за всеми ими, мелькают один из-за другого, теряют резкость индивидуальных очертаний и сливаются в одно существо» [16, с. 115], были весьма необычными и попали поэтоому под шквал критики. Как указывает В.А. Фатеев, Ю.Н. Говоруха-Отрок, который был близким другом Розанова, «энергично оспаривал мысль Розанова, будто неверие Великого инквизитора разделяет и автор» [5, с. 148]. В XX в. данное розановское утверждение также отрицал чешско-американский критик Р. Веллек, указывая, что Розанов анализирует главу о Великом инквизиторе, вырывая ее из контекста романа, что и привело к тому, что ее смысл был совершенно им искажен (*totally distorted*) [12, с. 259].

Наверное, самым известным критиком Розанова в этом вопросе является М.М. Бахтин, который причислял Розанова к тем исследователям, которые шли по «пути философской монологизации» произведений Достоевского, «пытаясь втиснуть показанную художником множественность сознаний в системно-монологические рамки единого мировоззрения» [1, с. 15]¹.

Стоит отметить, что стиль Розанова, полный колебаний и эксцессов мышления и эмоций, создает некий контраст с как бы ясной мыслью «Легенды», препятствуя тем самым, на наш взгляд, полной «философской монологизации» произведений Достоевского. Характеризуя главу о Великом инквизиторе как «синтез самой пламенной жажды религиозного с совершенной неспособностью к нему» [16, с. 107], Розанов продолжает: «Вместе с этим в ней мы находим глубокое сознание человеческой слабости, граничащее с презрением к человеку, и одновременно любовь к нему» [16, с. 107]. Можно сказать, что Розанов уловил двунаправленную природу сознания, являющуюся основной чертой изображения человека у Достоевского. Но одновременно следует признать и то, что Розанов видел своего рода «тупик», куда попал писатель. Говоря о «синтезе» и «сознании

¹ Между тем, стоит привести и воспоминание С.Г. Бочарова о М.М. Бахтине: «Когда при первой встрече мы пристали с вопросом “Что читать?”, он не назвал нам философов XX века; назвал одно имя — если и философа, то совсем особенного. Он сказал: “Читайте Розанова”» [2, с. 489].

человеческой слабости», Розанов, по-видимому, намекал на то, что на его поколение возложена миссия найти выход из этого тупика, который был гениально изображен Достоевским в поэме о Великом инквизиторе.

Можно заключить, что новизна розановской «Легенды» состояла в следующем: придерживаясь славянофильских положений о russkosti и православии¹, Розанов считал произведения Достоевского неким «вызовом», новой миссией, обращенной к самому себе, своему поколению. По этому поводу Розанов, может быть, бессознательно «принизил» Достоевского как мыслителя или философа, чтобы оставить открытым то, что новое поколение должно завершить. Можно сказать, что это была общая тенденция интерпретации сочинений Достоевского, которая, начавшись, пожалуй, под влиянием В.С. Соловьева, стала характерной чертой литераторов Серебряного века².

Что же касается Розанова, то важно отметить, что в первом издании «Легенды» он еще не окончательно сформулировал эту миссию, иначе говоря, еще не дошел до своей идеи, определяющей его философскую и публицистическую деятельность в целом. Розановская идея о поле и его святости в «Легенде» еще не была представлена.

Какой переворот сделал Розанов в отношении Достоевского?

Чтобы лучше понять отношение Розанова к Достоевскому, следует обратить особое внимание на предисловие ко второму изданию «Легенды», написанное в 1901 г., а также на послесловие к третьему изданию, написанное уже в 1906 г. (отметим, что последнее содержит в себе почти все части первого)³. Дело в том, что в них четко просматривается существенное изменение отношения критика к писателю. Переиздавая свою работу, принесшую ему известность, Розанов в то же время подчеркивал, что он уже не придерживается своей позиции десятилетней давности. Стоит прояснить, как же изменился взгляд Розанова на Достоевского.

Во-первых, надо заметить, что у Розанова окончательно закрепился подход к анализу романов Достоевского как к поиску «вопросов», а не «ответов», что было уже намечено и в тексте «Легенды». В этом отношении «принижение» Достоевского как мыслителя-философа еще более усилилось. Например, в обоих вышеуказанных приложениях критик подчеркивает следующее: «Идейное содержание Достоевского огромно, хотя через 20 лет по его смерти, взяв карандаш, всегда можно отметить,

¹ Н.Н. Страхов в рецензии на «Легенду» пишет: «Одним словом, если употребим давно установившуюся формулу, мы должны сказать, что г. Розанов *славянофильствует*, излагает некоторое *славянофильское исповедание убеждений*» [18, с. 292].

² Н.Н. Страхов пишет: «Г. Розанов, очевидно, принадлежит к людям, которые выросли на Достоевском. Таких людей, конечно, множество; все молодые люди последних двенадцати и пятнадцати лет прошли через Достоевского» [18, с. 293].

³ Х. Мондри также обращает внимание на предисловие к второму изданию «Легенды» с целью выяснения точки зрения «настоящего Розанова (real Rozanov)» [10, с. 81]. Хотя она не знала содержание «Тайны», опубликованной после напечатания ее книги, она сумела увидеть связь между развитием розановских мыслей о поле и его интерпретацией Достоевского.

что он не дошел до нужного, где переступил требующееся. И вообще виден конец и пределы сказанного им, которых в год смерти его решительно невозможно было определить. Можно сказать, что мы должны идти далее Достоевского... Вопросы, поставленные Достоевским, гораздо глубже, чем казались ему» [16, с. 16, 157].

Повторим, что такая тенденция существовала уже в самой «Легенде». Но ясно, что десять лет спустя она настолько устоялась, что Розанов уже сформулировал собственную задачу как независимый мыслитель. По его утверждению, Достоевский не понимал, что поставленные им вопросы были метафизическими, а не историческими, каковыми он сам был склонен их считать [16, с. 16, 157].

Надо отметить и то, что Розанов стал отталкиваться от славянофильских положений, послуживших определенными предпосылками его рассуждений в «Легенде». В примечании, добавленном в 1901 г., Розанов, назвав критику Достоевского католицизма «ничтожной» [16, с. 138], явно отходит от славянофильской и почвеннической позиций: «Лепет Достоевского о каком-то им открываемом “подлинном христианстве”, “чистом православии”, – как будто в тысячу лет оно не выразило и не определило себя! – есть в сущности реакция к старому и “славному” славянству, немножечко распущенному, стихийному, доброму, с распущенными губами, подрумяненным лицом, заплетающимся языком (вражда к “логическому” началу славянофилов)» [16, с. 138].

За этим кардинальным изменениям отношения к Достоевскому, несомненно, стоит «розановская тема», т.е. идея о поле и его святости для человека и Вселенной, которая была им найдена и стала быстро развиваться к концу века. Важно, что эта идея дала Розанову не только тему, но и стиль, или манеру, письма, эмоционально окрашенную и полную литературных образов и логических прыжков, как бы интуитивных, но хорошо просчитанных, пример чего можно видеть в процитированном выше отрывке¹.

В этом отношении символично, что одним из главных предметов розановских нападок стали образ Татьяны в «Евгении Онегине» и его восхваждение Достоевским в знаменитой «Пушкинской речи». Как известно, похвала Достоевского Татьяне составляет важную часть его почвеннических мыслей. Розанов же нападает на «идеал Татьяны», высмеивая ее смирение перед судьбой и желание сохранить верность мужу наперекор своей настоящей любви при помощи весьма своеобразных, «розановских» аргументов. Мы попробуем их проанализировать, потому что в них сконцентрировано его новое понимание Достоевского, а также представлены новая манера письма, новая идея, пронизывающая его сочинения, и новый подход к пониманию общественной роли мыслителя и публициста.

Нужно отметить, что «Пушкинская речь» Достоевского упоминалась еще в тексте «Легенды» первого издания и играла центральную роль в рассуждении о Великом инквизиторе. Обращаясь к риторическому вопросу Достоевского: «Разве может человек основать свое счастье на не-

¹ По поводу стилистических черт произведений Розанова стоит обратиться к работе А. Фомина [7].

счастье другого?» и имея в виду Татьяну, которая отказалась «ради удовлетворения своего чувства любви оскорбить старика мужа», Розанов заключает: «Из этого сопоставления очевидно, что все, что говорит Иван Карамазов, говорит сам Достоевский» [16, с. 71].

Между тем, в предисловии ко второму изданию Розанов отрекается от прежней позиции, даже оговариваясь, что он оставляет данную страницу, полагая, что «читатель должен на нее смотреть как бы на зачеркнутую» [16, с. 16, 157]. И, цитируя другие слова из Пушкинской речи: «Чем успокоить дух, если позади стоит нечестный, безжалостный, бесчеловечный поступок?..» и т.д., Розанов резюмирует: «Действительно, тут поставлен некоторый кардинальный вопрос: можно ли вообще на чьих-нибудь костях, и даже проще – на чьей-нибудь *обиде*, воздвигнуть, так сказать, нравственный Рим, вековечный, несокрушимый? ...вправе ли мы более считать и надеяться, что этот уже воздвигнувшийся Рим вековечен, имеет вечное и согласное себе благословение в сердцах человеческих и благоволение свыше?.. Вот вопрос, вот критерий» [16, с. 17, 158].

Очевидно, что это не что иное, как повторение мысли Достоевского. Но важно заметить, что Розанов применяет эту тему к социальным вопросам, которыми он тогда интенсивно обращался в публицистике¹, – отношению православной церкви к браку, разводу и судьбам «незаконнорожденных» детей. Он подробно пересказывает известие о найденном в перелеске недалеко от Костромы, родины критика, «тельце младенца-мальчики, около года, одиноком, но цельном и нетронутом» [16, с. 17, 158]. По обстоятельствам дела Розанов делает вывод, что это был, вероятнее всего, ребенок, брошенный девушкой, «незаконно» его родившей и скрывавшей где-то до года. Заслуживает внимания, что в послесловии к третьему изданию Розанов уже возлагает полную ответственность за такие дела на православную церковь: «[Девушка] не имела сил внести в родной дом дитя девичества своего. Об этом, т.е. что таких детей “не имеют сил вносить в дом свой”, знает Церковь, и за него все, исповедующие ее учение и приученные повиноваться ей. Я сказал: “знает Церковь”... Слишком скромно: Церковь-то и отрекла этих детей, – всех, рожденных без предварительного ее благословения, и при ее отказе дать таковое благословение на рождение до замужества; отрекла и определила их судьбу» [16, с. 158].

Таким образом, Розанов своеобразно использует идеи Достоевского для рассуждения о современных ему социальных вопросах, с одной стороны, но, с другой, строго критикует своего учителя за то, что он «сузил» тему, не сумев раскрыть истинную ее глубину. По мнению Розанова, такую недодуманность писателя символизирует его похвала Татьяне, поскольку ее «самопожертвование», заключающееся в верности «старiku мужу», несопоставимо с теми жертвами «незаконнорожденных» детей, на которых стоит «нравственный Рим, нами доверчиво принятый и в котором мы живем» [16, с. 18]. И тут ясно, что Розанов, повторяя и

¹ По этому поводу см. также статью С. Нонака [3].

усиливая мотивы Достоевского, пытается подключиться к обсуждению современных проблем, проливая на них свет по-новому¹.

Конечно, следует спросить, справедливо ли критикует Розанов Достоевского. Должно быть, в основе этой критики лежит своеобразное предубеждение. Но можно заметить еще раз, что розановский подход к Достоевскому был более или менее типичным для эпохи Серебряного века, поскольку Розанов считает долгом своего поколения дать ответы на вопросы, поставленные предыдущим поколением, в частности Ф.М. Достоевским и Л.Н. Толстым. Следующие слова Розанова, сказанные в 1900 г., отражают «пафос времени», как бы гордо и односторонне они ни звучали: «...хотелось бы надеяться, что в ХХ наступающем веке она [русская мысль. – С.Н.] решит что-нибудь из тех вечных и универсальных проблем, проблем уже общечеловеческого интереса, над которыми задумались два наших мистика-художника. Толстой слишком поспешно сам разрешил свои вопросы, и получилась азбучная мораль, без знания и жизни. Его ответы бесконечно меньше его вопросов. Достоевский ничего не успел решить, и вопросы его не только не уже, но еще бесконечно углубленнее, мучительнее, смутнее, чем вопросы Толстого. Даль – перед нами, и вопрос в крыльях, на которых мы полетим туда» [16, с. 667].

Можно было бы сказать, что мыслители Серебряного века «полетели» туда, куда каждый из них хотел, чтобы найти свою « даль ». Во всяком случае, Розанов к концу века четко осознал и выразил отношение свое и своего поколения к Достоевскому в формуле «*его* вопросы и *наши* ответы». Можно считать такой подход важным вкладом Серебряного века в интерпретацию произведений Достоевского, потому что, несмотря на бахтинскую критику «философской монологизации» [1, с. 15], формула «*его* вопросы и *наши* ответы» сыграла большую роль в расширении и диверсификации интерпретаций этого писателя в ХХ в. и далее.

Что касается розановской «Легенды», то важно подчеркнуть, что в целом она содержит в себе противоречия, обусловленные спором автора с самим собой, и должна быть охарактеризована как «немонолитная» работа. Интересно было бы проследить, как же Розанов ищет ответы на вопросы, поставленные Достоевским, потому что в итоге именно он оказался, на наш взгляд, одним из самых своеобразных и, быть может, влиятельных критиков русского писателя. Чтобы убедиться в правильности этого тезиса, обратимся к анализу другой работы Розанова о Достоевском, содержание которой стало широко известно лишь недавно.

Какую «Тайну» обнаружил Розанов в Достоевском?

«Тайна. Из записной книжки писателя» (далее «Тайна») – неоконченная большая работа, которой Розанов занимался, согласно комментариям редактора, обнаружившего ее в архиве, с конца 1890-х до начала 1900-х гг. [17, с. 695–696]. По воспоминаниям П.П. Перцова, эта работа

¹ В статье «Еще о смерти Пушкина» Розанов продолжает критику образа Татьяны, утверждая, что он не отсылает к «детям»: «Вот что забыл Пушкин, рисуя свой “милый идеал”, и о чем забыл, что кощунственно выкинул из головы Достоевский, в знаменитом анализе “пушкинского и русского идеала женщины”» [16, с. 680].

была слишком большая, чтобы быть опубликованной в журналах, но была «написана в золотую его пору и ведет мысль розановскими путями, начиная от “Диалогов” Платона, через восточные культы, в глубину любимого Египта» [15, с. 270].

Кроме того, «Тайна», как она известна нам, важна именно тем, что содержит в себе рассуждения о русской литературе, в особенности о «четырех великих мистиках»: Н.В. Гоголе, Л.Ю. Лермонтове, Л.Н. Толстом и Ф.М. Достоевском. По мнению Розанова, эти писатели могут быть названы мистиками в том смысле, что они «все суть соит’альные писатели: т.е. писатели чрезвычайного внимания к чресленной стороне природы» [17, с. 482]. Как в «Легенде», так и в «Тайне» Розанов приводит весьма многочисленные и длинные цитаты из их произведений и сопровождает их такими же длинными комментариями. Как указывает Г.В. Хлебников, в этой работе типичен «прием возвращения к одному и тому же вопросу в различных местах книги с все большим углублением в предмет» [8, с. 727]. Разбирая произведения вышеуказанных писателей, Розанов углубляет свою мысль о центральности половой темы в их творчестве. Параллельно с этим он разрабатывает собственную теорию о «трансцендентности», или «ноумenalности», пола.

Стоит заметить, что Розанов дает новую оценку творчества Гоголя. В «Тайне» особое внимание обращается на «Страшную месть» ввиду того, что здесь четко показано «соит’альное тяготение отца к дочери: второй трансцендентный грех, столь же древний в человечестве, как и растление несовершеннолетних» [17, с. 383]. Данная тема связывает, по мнению Розанова, Гоголя с Достоевским, углубившим идею о еще одном «трансцендентном» грехе: ставрогинщине. Грехи, описанные ими, свидетельствуют не только о том, что они понимают чрезвычайно важное, сакральное значение пола для человека, но и о том, что они могут его притягивать по своей «трансцендентности», иначе говоря, по связности с ноумenalным миром¹. Таким образом, Гоголь, противопоставленный в «Легенде» последующим русским писателям, воссоединился с ними в глазах Розанова, хотя прежнее гоголевское понимание у него, по-видимому, не совсем исчезло, образуя как бы «старый пласт» розановского образа Гоголя.

Примечательно, что Лермонтов также принадлежит к «четырем великим мистикам». И в статье «Вечно печальная дуэль» (1898) Розанов подчеркивает особое значение поэта: оно в том, что Лермонтов, в отличие от Пушкина, знал ту «тайну выхода из природы – в Бога, из “стихий” к не-бу» [17, с. 139], которая открылась последующим писателям, в особенности Достоевскому и Толстому. Как известно, влиятельным оказалось розановское утверждение о «непреемственности» пушкинской линии в русской литературе: «Связь с Пушкиным последующей литературы вообще проблематична. В Пушкине есть одна, мало замеченная черта: по структуре своего духа он обращен к прошлому, а не к будущему» [17, с. 134]. В «Тайне» же Розанов откровеннее выражает свое мнение об этих поэтах:

¹ Розанов пишет о своей работе: «И, собственно – то, что мы здесь делаем, это через исследование соит’альных, т.е. ноумен’альных, порывов мы разгадываем содержание ноумен’ального мира» [17, с. 478].

«Sexual’ный характер поэзии Лермонтова, особенно если мы станем сравнивать ее с поэзией Пушкина или с чьей-нибудь из пушкинской школы, – ясен. Взамен не рождающей у них любви, любви как цветка жизни, как украшения минуты, у него – всегда рождающая любовь» [17, с. 417]. Короче говоря, у Пушкина и в любовной лирике, и в «Евгении Онегине» отсутствует сексуальный контекст, что свидетельствует, по Розанову, о пропасти между ним и «четырьмя великими мистиками».

Что же касается Толстого, то хорошо известно, что Розанов никогда не чувствовал к нему настоящей близости, такой, как к Достоевскому, хотя можно уверенно сказать, что между толстовскими и розановскими темами о поле есть нечто весьма близкое [9, гл. 1; 10, гл. 6]¹. В самом деле, в «Тайне» занимает много страниц и анализ толстовских произведений. Например, Розанов придает особое значение изображениям того, как женщины – не только героини, как Кити или Анна, но и второстепенные персонажи, как Долли или дочь Ивана Ильича – притягиваются к мужчинам почти инстинктивно под «вездесущием соит’альных тяготений под битвами, земством, охотой, интригами» [17, с. 405]. Но в целом, надо сказать, для Розанова Толстой никогда не являлся источником глубокого философского интереса. В иерархии «четырех великих мистиков» Толстой занимает последнее место из-за преобладания в его произведениях темы родов над темой соитус’а: «И они все, четыре великих мистика, внимали чреслам: но их разным мигам выявления. Соит’альная сторона почти отсутствует у Толстого: миг разрешения женщины, и плодоношение в его зиждущем значении, в его воспитательных, почти педагогических сторонах, есть центр его прислушивания, исходный пункт размышления и созерцания... Но чрево – это уже начало постижимого, и рационализм есть бедная сторона у Толстого, соломинка, на которой не продолжительно продержится его мощь: глубже Достоевский. Он весь в мире соитус’а» [17, с. 483].

Таким образом, в «Тайне», как и в «Легенде» и во всей его литературной критике, центральное место занимает Достоевский, поводом к чему служит самая глубокая разработка соит’альных тем в русской и, пожалуй, мировой литературе.

По этому поводу следовало бы еще раз обратиться к «трансцендентным грехам», таким как кровосмешение (инцест) и педофилия (инфантосексуализм), о которых в «Тайне» много писалось по поводу произведений Достоевского и Гоголя («Страшная месть»). Как отмечалось раньше, Розанов считает такие половые акты самыми греховными, но в то же время глубоко связанными с происхождением и основами человеческого существования. Как указывает Г.В. Хлебников, «Тайну» характеризует ориентация на «сближение и даже слияние и идентификация добра и зла в глубинах бытия» [8, с. 728].

Что касается Достоевского, то можно сказать, что в «Тайне» обращается самое пристальное внимание на ряд: свидригайловщина – ставро-

¹ М. Горький отмечал в воспоминаниях о Толстом: «Л.Н. говорил о них [свадебных обрядах. – С.Н.] очень языческие вещи, совпадающие в чем с В.В. Розановым» [13, с. 18].

гинщина – карамазовщина, который в глазах Розанова представляет собой открытие трансцендентности «soit’ального чувства к детскому возрасту» [17, с. 365]. По этому поводу он даже пишет следующее: «[В Достоевском] мы имеем чистого мистика, с [не]вероятным далеким влиянием. Рассыпавшегося в белых видениях такой ясности и подробности, каких мы не встречаем еще ни у кого. «Земля новая» и «небо новое» как будто в самом деле им увидены, и, собственно, они увидены им в детских *genital’иях*, там и здесь пересекающих решительно все его творчество» [17, с. 484].

В сравнении с этим открытием мысли о «народности» или «общении с землей» – это не более чем заимствованная и лучше выраженная Достоевским славянофильская идея: «Собственно оригинален, нов и единственный Достоевский... в понятии напр. «карамазовщины», им впервые введенном в литературе» [17, с. 340].

Конечно, нужно сказать, что Розанов явно доводит свою интерпретацию до крайности и даже до абсурдности, как бы ни была важна сексуальная тема у Достоевского. Но стоит остановиться на том, какова идеологическая подоплека розановского нового подхода к своему кумиру, иначе говоря, какими мыслями Розанов пользуется, чтобы оправдать свои взгляды относительно пола, применяемые к Достоевскому.

Следует указать, во-первых, на ссылку на древнегреческую философию, в особенности на платонизм. В «Тайне» уделяется много страниц анализу некоторых произведений Платона и сопоставлению их с романами Достоевского. Например, Розанов видит у обоих «живое и почитенное», «чресленное» чувство» [17, с. 579], с которым они как бы учат нас смотреть на мир, природу, животных, на нас самих и друг на друга. Итак, Розанов, давая отчет апокалиптических образов Версилова в «Подростке», утверждает, что в «последний день человечества» люди пробудились бы не столько к чисто духовной, сколько к «чресленной» любви, в чем заключается смысл версиловских образов: «Они стали бы замечать и открыли бы в природе такие явления и тайны, каких и не предполагали прежде, ибо смотрели бы на природу новыми глазами, взглядом любовника на возлюбленную. Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это – все, что у них остается... Они стали бы нежны друг к другу и не стыдились бы того, как теперь, и ласкали бы друг друга, как дети. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть» [14, с. 343; 17, с. 580–582].

Нужно повторить, что розановская интерпретация крайне необычна и, пожалуй, неправильна. Но все-таки, как нам кажется, есть некоторое основание думать, что у Достоевского идея любви является одной из самых важных и глубоких, так что она часто продумывается как бы за пределами добра и зла, духа и плоти. Можно сказать, что Розанов особо выделил Достоевского как писателя, лучше всех показавшего такую многомерность любви. В этом отношении примечательно, что Достоевский часто пользуется апокалиптическими образами, в которых рисуется любовь в необыкновенном аспекте («фантазия» Версилова, эпилог «Преступления и наказания», «Сон смешного человека» и т.д.). Что касается Розанова, то

неслучайным представляется то, что он также обращается к апокалиптическим образам, чаще всего к образам Жены, облеченной в солнце, и Дракона в Апокалипсисе, которые служат еще одним обоснованием розановского понимания Достоевского: «Жена, на голове ее диадема из 12 звезд, облечена в солнце и под ногами ее луна: она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения... Дракон стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца» [7, с. 523].

Хорошо известно, что эти образы были источником художественных и религиозно-философских вдохновений для Серебряного века в целом. Розанов же трактует их буквально, в контексте половых отношений, а не символично. Процитировав вышеуказанное место из Апокалипсиса, он заключает: «Вот расположение – величайшего греха и очевидно величайшей правды: добро и зло в формах анатомического их сплетения. Так в Апокалипсисе, так у Платона, – у Лермонтова, Достоевского. Везде взят возраст и пол» [17, с. 523].

Кроме сочинений Платона и Апокалипсиса, Розанов ссылается, хотя намного реже, и на другие древние философские, религиозные и литературные источники, такие как труды Аристотеля, Пифагоры, Библия (особенно о Лотовых дочерях), египетские мифы, произведения Сапфо, Софокла и Овидия. Ясно, что вся эта «классика человечества», по намерению Розанова, помогает рассматривать «проблему Достоевского», правда, не до конца осознанную им самим, с универсальной точки зрения или даже *sub specie aeternitatis*. Для Розанова было очень важно обсуждать проблемы пола как философско-религиозные не только потому, что он действительно считал их таковыми, но и потому, что это должно было придать ему статус мыслителя или даже философа. Можно сказать, что это была его последовательная стратегия как писателя.

Между тем, важно отметить, что Розанов в «Тайне» опирается и на данные естественных наук XIX в., таких как физиология, анатомия,эмбриология и токология. Правда, его научные познания были весьма поверхностными, причем Розанов этого не скрывал, а, скорее, сам открыто подчеркивал. Например, он цитирует статью об «оплодотворении» и приводит рисунок сперматозоидов и яйца из двенадцатого тома «Энциклопедии» Брокгауза и Ефрана, вышедшего в 1897 г., чтобы показать, какие замечательные аналогии можно провести между наукой, Библией («Бытием»), «Одиссеей» и стихами Лермонтова о «любви и размножении», или, по розановскому выражению, о «нескончаемой анатомической вечности» [17, с. 472]. Таким образом, Розанов, представляя научные достижения современного ему естествознания в контексте религиозно-философских рассуждений, намеренно упрощал их, адаптируя к уровню понимания широкого круга читателей.

Показательной в данном случае является реакция Розанова на книгу американского врача-акушера Алисы Стокгэм (Alice Stockham, 1833–1912) «Токология», к русскому переводу которой предисловие написал Лев Толстой. Ссылаясь на «теорию поглощения семени» в целях управления моментом зачатия [17, с. 597], изложенную в книге Стокгэм, Розанов обнаруживает ее сходство с платоновской трактовкой любви между мужчинами, утверждая, что обе они сводятся к «вечному вздоханию, в

ласкаемом и даже в ласкающем, *sexus'a*» [17, с. 597]. Чрезмерная физиология у него смешивается с чем-то «вечным». Другими словами, «вечное» в глазах Розанова отличается некоторой гибридностью или же смешанностью плотского и духовного, жизни и трансцендентности¹. Для этой цели он пользуется двоякими аргументами, т.е. религиозно-философскими и просветительско-естественнонаучными. Такая аргументация, на наш взгляд, весьма характерная для Розанова, позволила ему быть интересным мыслителем для элитарного круга читателей, с одной стороны, и публицистом для широкого круга читателей, с другой².

Таким образом, можно заключить, что в «Тайне» Розанов представил Достоевского как писателя, который лучше всех в мировой литературе описал мистику пола, в особенности «соit'альных тяготений», таящуюся в самой глубине человека и мира. Миссия же разрешить ее, как это имплицитно следует из его рассуждений, предоставлена самому Розанову. Это и есть тот «нarrатив», который Розанов выбрал для себя по отношению к Достоевскому.

Вместо заключения: двуплановость контекстов интерпретации

Как мы показали, для Розанова было существенно, как понять произведения Достоевского, как подойти к ним так, чтобы уловить самое главное. Можно сказать, что развитие Розанова как литературного критика и мыслителя было определено во многом толкованием творчества Достоевского. Для Розанова, как и для других критиков и мыслителей, этот писатель оказался не только целью изучения, но и средством, позволявшим развить собственные мысли и сформировать свою философскую систему. Именно с этой целью в «Тайне» Розанов, рассуждая о творчестве Достоевского, высказывает свои тезисы о святости пола и т.д.

Как отмечалось, характерным для Розанова оказывается подход, предполагающий использование не единого, а двупланового контекста интерпретации: религиозно-философского и просветительско-естественнонаучного. Иначе говоря, он представляет Достоевского как писателя, который в принципе открыт к разным прочтениям – разным не только по содержанию, но и по модусу интерпретации. Таким образом, возвышенные идеи и чувства, изображенные в его произведениях, могут истолковываться с физиологической и плотской точек зрения, а такие биологические понятия, как сперматозоид, эмбрион и оплодотворение, могут обсуждаться на уровне анализа возвышенного и идеального. Такая двуплановость, или даже смешение двух планов, характерна, как кажется, не только для

¹ Пожалуй, об этом хорошо свидетельствует то, что Розанов представляет себе загробную жизнь в какой-то свидригайловой манере: «Мне всегда казалась смерть человека похожею на момент, когда муха переползает по краешку стола с верхней плоскости доски на нижнюю: в один момент – и совсем новое зрелище! Все – другое! Муха видит теперь ноги людей, о которых, ползая по верхней плоскости доски, она не имела никакого понятия... Смерть есть перемена не нас, но вокруг нас, совершившаяся от перемещения нашей точки зрения» [16, с. 782].

² О подобной манере розановских сочинений на тему о консерватизме мы писали ранее [4].

Розанова, но и для многих создателей того образа «Достоевского ХХ века», который допускает различные интерпретации, освобожденные от исторического контекста, в котором были написаны его произведения. Можно сказать, что Розанов стоит в начале того процесса «деконтекстуализации», который посредством отказа от учета исторических реалий открывает простор для более разнообразных и смелых интерпретаций.

Правда, такое прочтение ведет к «сверхсемантизации», в результате которой литературное произведение наделяется избыточными смыслами и противоречащими друг другу истолкованиями. Однако, оглядываясь на историю развития литературной критики ХХ в., можно сказать, что тенденция к «деконтекстуализации» и «сверхсемантизации» действительно оказала сильное влияние на многих исследователей. Романы Достоевского стали наиболее удобной и плодотворной почвой для культтивирования различных текстов, или «опытов прочтения», и в этом отношении их можно сравнить, пожалуй, лишь с пьесами В. Шекспира.

Литература

Исследования

1. Бахтин М.М. Собрание сочинений. В 7 т. Т. 2. М.: Русские словари, 2000.
2. Бочаров С.Г. Об одном разговоре и вокруг него // Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 472–502.
3. Нонака С. Значение писем читателей для эволюции творчества В. Розанова («В мире неясного и нерешенного» и др.) // Japanese Slavic and East European Studies. 2012. Vol. 33. P. 61–82.
4. Нонака С. Самопозиционирование консерватизма Василия Розанова // Дальний Восток, близкая Россия: Эволюция русской культуры – взгляд из Восточной Азии / Гречко В., Ким С.К., Нонака С. (ред.). Белград: Логос, 2015. С. 25–39.
5. Фатеев В.А. Жизнеописание Василия Розанова. Изд. 2. СПб.: Пушкинский Дом, 2013.
6. Фатеев В.А. Н.Н. Страхов: Личность. Творчество. Эпоха. СПб.: Пушкинский Дом, 2021.
7. Фомин А.И. «Бог послал меня с даром слова...»: Язык и стиль лирико-философской прозы В.В. Розанова. СПб.: Гуманитарная Академия, 2015.
8. Хлебников Г. «Тайна» и ее исследователь // Розанов В.В. Полное собрание сочинений. В 35 т. Т. 2. СПб.: Росток, 2015. С. 725–732.
9. Matich O. Erotic utopia: the decadent imagination in Russia's fin de siècle. Madison: University of Wisconsin Press, 2005.
10. Mondry H. Vasily Rozanov and the Body of Russian Literature. Bloomington: Slavica, 2010.
11. Ure A. Vasilii Rozanov and the Creation: The Edenic Vision and the Rejection of Eschatology. New York: Continuum, 2011.
12. Wellek R. A History of Modern Criticism: Volume 7, German, Russian, and Eastern European Criticism, 1900–1950. New Haven; London: Yale University Press, 1991.

Источники

13. Горький М. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. Пг.: Издательство З.И. Гржебины, 1919.

14. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 18 т. Т. 10. М.: Воскресение, 2004.
15. Перцов П.П. Литературные воспоминания 1890–1902 гг. М.: НЛО, 2002.
16. Розанов В.В. Полное собрание сочинений. В 35 т. Т. 1. СПб.: Росток, 2014.
17. Розанов В.В. Полное собрание сочинений. В 35 т. Т. 2. СПб.: Росток, 2015.
18. Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе: исторические и критические очерки. Кн. 3. СПб.: Тип. С. Добродеева, 1896.

Nonaka, Susumu. *From “Legend” to “Mystery”: how V. Rozanov made F. Dostoevsky a writer of the 20th century*

References

1. Bakhtin, M.M. (2000), *Sobranie sochineniy* [Collected Works], in 7 vols., vol. 2, Russkie slovari, Moscow (in Russian).
2. Bocharov, S.G. (1999), About one conversation and around it, in: Bocharov S.G., *Syuzhetы russkoy literatury* [Plots of Russian Literature], Yazyki russkoy kultury, Moscow, pp. 472–502 (in Russian).
3. Nonaka, S. (2012), The significance of readers' letters for the evolution of V. Rozanov's work (“In the World of the Unclear and Unresolved”, etc.), in: *Japanese Slavic and East European Studies*, vol. 33, pp. 61–82 (in Russian).
4. Nonaka, S. (2015), Self-Positioning of Vasily Rozanov's conservatism, in: Grechko, V., Kim, S.K., & Nonaka, S. (eds.), *Dalniy Vostok, blizkaya Rossiya: Evolyutsiya russkoy kultury – vzglyad iz Vostochnoy Azii* [Far East, Close Russia: The Evolution of Russian Culture – A View from East Asia], Logos, Belgrade, pp. 25–39 (in Russian).
5. Fateev, V.A. (2013), *Zhizneopisaniye Vasilija Rozanova* [Biography of Vasily Rozanov], 2nd ed., Pushkinskiy Dom, St. Petersburg (in Russian).
6. Fateev, V.A. (2021), *N.N. Strakhov: Lichnost'. Tvorchestvo. Epokha* [N.N. Strakhov: Personality. Work. Epoch], Pushkinskiy Dom, St. Petersburg (in Russian).
7. Fomin, A.I. (2015), “*Bog poslal menya s darom slova...*”: *Yazyk i stil' liriko-filosofskoy prozy V.V. Rozanova* [“God sent me with the gift of speech...”]: Language and Style of Lyrical and Philosophical Prose of V.V. Rozanov], Gumanitarnaya Akademiya, St. Petersburg (in Russian).
8. Khlebnikov, G. (2015), “The Mystery” and its researcher, in: Rozanov, V.V., *Polnoe sobranie sochineniy* [Complete Works], in 35 vols, vol. 2, Rostock, St. Petersburg, pp. 725–732 (in Russian).
9. Matich, O. (2005), *Erotic utopia: the decadent imagination in Russia's fin de siècle*, University of Wisconsin Press, Madison.
10. Mondry, H. (2010), *Vasily Rozanov and the Body of Russian Literature*, Slavica, Bloomington.
11. Ure, A. (2011), *Vasili Rozanov and the Creation: The Edenic Vision and the Rejection of Eschatology*, Continuum, New York.
12. Wellek, R. (1991), *A History of Modern Criticism: Volume 7, German, Russian, and Eastern European Criticism, 1900–1950*, Yale University Press, New Haven, London.